

ГЕНРИХ
ФОН КЛЕЙСТ

*Обручение
на Сан-Доминго*

АЗБУКА-КЛАССИКА

Annotation

Жизнь Генриха фон Клейста была недолгой, но бурной. Потомок старинного дворянского рода, прусский офицер, он участвовал в походах против Франции в 1793 – 1797 годах, однако оставил службу ради литературной деятельности. Его творчество застало современников врасплох. Клейст настолько очевидно отличался от других романтиков, что кто – то из критиков назвал его «найденным поэзией». В его произведениях отразилось смятение собственных души и ума, накал чувств, в них была атмосфера грозы и трагедии. Герои Клейста жили без оглядки, шли до предела и гибли всерьез. Трагическим и очень странным был уход из жизни самого писателя – двойное самоубийство со своей последней подругой. Смерть Клейста, как и его творчество, поразили многих... Прошли столетия, а новеллы и пьесы немецкого писателя Г. фон Клейста все еще находят отклик в сердцах читателей. Сегодня пришло время перечитать произведения Клейста.

- [Генрих фон Клейст](#)
 -

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Генрих фон Клейст

Обручение на Сан-Доминго

В городе Порт-о-Пренсе, в той части острова Сан-Доминго, которая принадлежала французам, проживал в начале текущего столетия, когда произошло избиение белых неграми, на плантации господина Гильома де Вильнев страшный старый негр по имени Конго Гоанго. Этот человек, родом с Золотого берега Африки, в молодые годы, видимо, отличавшийся верностью и честностью, был осыпан бесчисленными благодеяниями своего господина за то, что спас ему однажды жизнь во время поездки на Кубу. Господин де Вильнев не только даровал ему отдельный домик и усадьбу, но даже по прошествии нескольких лет, вопреки обычаям страны, сделал его управляющим своего обширного имения и, так как тот не хотел вступать во вторичный брак, уступил ему, вместо жены, старую мулатку со своих плантаций по имени Бабекан, с которой тот состоял в отдаленном свойстве через свою умершую жену. Более того, когда негр достиг шестидесятилетнего возраста, он назначил ему значительное содержание, уволив его на покой, и увенчал свои благодеяния тем, что даже оставил ему кое-что по духовному завещанию; тем не менее все эти доказательства его признательности не могли оградить господина де Вильнев от ярости этого свирепого человека.

Конго Гоанго при общем опьянении мстью, которое, вследствие неосмотрительного решения Национального конвента, вспыхнуло на этих плантациях, один из первых взялся за ружье и, вспомнив то жестокое насилие, которое некогда вырвало его из его родины, всадил пулю в голову своего господина. Он поджег дом, в котором укрылась жена убитого со своими тремя детьми и прочими белыми, проживавшими в имении, опустошил всю плантацию, на которую наследники, проживавшие в Порт-о-Пренсе, могли предъявить свои права, и, сровняв с землею все постройки поместья, двинулся с неграми, которых он собрал и вооружил, в окрестные поселения, чтобы поддержать своих соотечественников в их борьбе с белыми. То он подстерегал путешественников, разъезжавших по стране, с вооруженными отрядами; то среди бела дня нападал на плантаторов, окопавшихся в своих усадьбах, причем беспощадно вырезал всех, кого там находил. Мало того, увлеченный бесчеловечной мстительностью, он призывал старую Бабекан и ее дочку, пятнадцатилетнюю метиску, по имени

Тони, принять участие в этой свирепой войне, во время которой он как бы сам помолодел; а так как главное здание плантации, в котором он теперь жил, стояло одиноко на большой дороге и туда нередко заходили в его отсутствие беглецы, белые и креолы, в поисках крова и пищи, то он подучил женщин, чтобы они ласковым приемом и помощью задерживали этих белых собак, как он их называл, до его возвращения. Бабекан, вследствие жестокого наказания, которому она подверглась в молодости, болевшая чахоткой, обычно в подобных случаях приказывала Тони, – благодаря своему желтоватому цвету лица девушка была особенно пригодна для осуществления этой отвратительной хитрости, – нарядиться в лучшее платье; она убеждала дочь не отказывать проезжим ни в каких ласках, кроме последней ласки, запрещенной ей под угрозой смерти; когда же Конго Гоанго возвращался после набегов, совершенных в окружающей местности, со своим отрядом негров, неизбежная смерть выпадала на долю несчастных, которые дали себя обмануть этими хитростями.

Всем, конечно, хорошо известно, что, когда в 1803 году генерал Дессалин двинулся с тридцатью тысячами негров на Порт-о-Пренс, все белые бросились в этот город, чтобы защищать его. Ибо он был последним опорным пунктом владычества Франции над островом и с его падением все белые, находившиеся в нем, были неминуемо обречены на гибель. Случилось, что как раз в отсутствие старого Гоанго, который со своим отрядом чернокожих выступил для того, чтобы подвезти через французские линии транспорт пороха и свинца для генерала Дессалина, кто-то во мраке дождливой и бурной ночи постучался в заднюю дверь его дома. Старая Бабекан, уже лежавшая в постели, поднялась, отворила окно, накинув на бедра одну юбку, и спросила, кто там.

– Заклинаю Девой Марией и всеми святыми, – тихо сказал неизвестный, став под окном, – ответьте мне на один вопрос, раньше чем я назову себя! – И с этими словами он протянул в темноте свою руку, чтобы схватить руку старухи, и спросил: – Вы – негритянка?

Бабекан отвечала:

– Вы-то – уж наверное белый, раз предпочитаете глядеть в лицо этой беспросветной ночи, чем в лицо негритянки! Входите, – добавила она, – и не бойтесь ничего; здесь живет мулатка, а единственный человек, который, кроме меня, находится в этом доме, – это моя дочь, метиска! – Сказав это, она притворила окошко, словно намереваясь сойти вниз, чтобы отворить ему дверь, а между тем, наскоро захватив из шкафа кое-какое платье, она под предлогом, что не сразу смогла найти ключ, пробралась наверх, в каморку дочери, и разбудила ее.

– Тони! – сказала она. – Тони!

– В чем дело, мать?

– Скорее! – сказала старуха. – Вставай и одевайся! Вот тебе платье, чистое белье и чулки! У дверей стоит белый, за которым гонятся, и просит, чтобы его впустили.

Тони спросила, наполовину приподымаясь на постели:

– Белый? – Она взяла платье, которое старуха держала в руках, и сказала: – А он один, мама? Нам нечего бояться, если мы его впустим?

– Нечего, нечего! – отвечала мать, зажигая огонь. – Он без оружия, один и дрожит всем телом со страху, что мы на него нападём! – С этими словами, в то время как Тони надевала чулки и юбку, старуха засветила большой фонарь, стоявший в углу комнаты, поспешно завязала девушке волосы на голове, как их носили в этой местности, надела на нее шляпу, затянув предварительно шнуры ее лифа, и, передав ей фонарь, приказала сойти во двор и впустить незнакомца.

Тем временем лай дворовых собак разбудил мальчика по имени Нанки, внебрачного сына Гоанго, прижитого с одной негритянкой, который спал вместе с братом Сеппи в соседнем доме; и так как при свете месяца он увидел одного лишь человека, стоявшего на черной лестнице дома, то поспешил, согласно полученным на подобные случаи указаниям, к воротам, ведущим во двор, через которые тот вошел, чтобы их запереть. Незнакомец, который не мог понять, что означают все эти меры, спросил мальчика – теперь он мог разглядеть его вблизи и, к своему ужасу, признал в нем негритенка:

– Кто живет в этой усадьбе?

Когда же тот отвечал, что после смерти господина де Вильнев имение перешло к негру Гоанго, он уже готов был сбить мальчика с ног, вырвать у него ключ от ворот, который тот держал в руке, и бежать в поле, когда из дома вышла Тони с фонарем в руке.

– Скорей! – сказала она, схватив его за руку и увлекая к двери. – Входите сюда! – При этом она старалась так держать фонарь, чтобы свет его прямо падал на ее лицо.

– Кто ты? – воскликнул незнакомец, вырываясь от нее: пораженный многим, увиденным здесь, он разглядывал ее прелестную юную фигуру. – Кто живет в этом доме, в котором, как ты говоришь, я найду убежище?

– Никто, клянусь небесным светом, – отвечала девушка, – кроме моей матери и меня!

– Как никто? – воскликнул незнакомец, шагнув назад и вырвав у нее свою руку. – Не сказал ли мне только что этот мальчик, что здесь проживает

негр по имени Гоанго?

– А я говорю, что нет! – сказала девушка, с выражением досады топнув ногою. – И хотя дом этот и принадлежит злодею, который носит это имя, но его сейчас здесь нет, и он отсюда не менее как на расстоянии десяти миль! – С этими словами она обеими руками втащила пришельца в дом, приказала мальчику никому не говорить, кто к ним прибыл, и, дойдя до двери, взяла незнакомца за руку и повела его вверх по лестнице в комнату матери.

– Ну, – сказала старуха, слышавшая из верхнего окна весь разговор и при свете фонаря заметившая, что то был офицер, – что означает эта шпага, которую вы держите под мышкой, словно готовясь к бою? Мы предоставили вам, – добавила она, надевая на нос очки, – с опасностью для жизни убежище в нашем доме; неужели вы вошли в него с тем, чтобы, по обычаю ваших соотечественников, отплатить нам предательством за оказанное вам благодеяние?

– Боже упаси! – отвечал гость, близко подойдя к ее креслу. Он схватил руку старухи, прижал ее к своему сердцу, робко оглядев комнату, отстегнул шпагу, висевшую у него на боку, и добавил: – Перед вами несчастнейший из людей, но отнюдь не дурной и не неблагодарный!

– Кто вы такой? – спросила старуха и придвинула ему ногою стул, приказав девушке пойти на кухню и на скорую руку приготовить для незнакомца что-нибудь поужинать.

Незнакомец отвечал:

– Я – офицер французской армии, хотя, полагаю, вы сами могли заметить, что я – не француз; родина моя – Швейцария, а зовут меня Густав фон дер Рид. Ах! Зачем я ее покинул и променял на этот злосчастный остров! Я иду из форта Дофина, где, как вам известно, все белые были перебиты, и направляюсь в Порт-о-Пренс, чтобы достигнуть его раньше, чем генералу Дессалину удастся окружить и осадить его войсками, которыми он командует.

– Из форта Дофина! – воскликнула старуха. – И вам, с вашим цветом кожи, удалось пройти этот огромный путь по стране негров, охваченной восстанием?

– Бог и все святые, – отвечал гость, – защитили меня! К тому же я не один, добрая матушка, – меня сопровождает почтенный старик, мой дядя, с супругой и пятью детьми, не говоря о нескольких слугах и горничных, входящих в состав семьи, – караван из двенадцати человек, который я должен перевозить при помощи двух жалких мулов тягостными ночными переходами, так как днем мы не решаемся показаться на больших дорогах.

– Боже ты мой! – воскликнула старуха, нюхая табак и сочувственно покачав головой. – А где находятся в настоящую минуту ваши спутники?

– Вам, – отвечал гость, немного подумав, – я могу довериться; сквозь темную окраску вашей кожи просвечивает отблеск собственной моей окраски. Скажу вам, что все мое семейство находится на расстоянии одной мили отсюда, близ пруда Чаек, в чаще прилегающей к нему горной поросли. Третьего дня голод и жажда принудили нас искать это убежище. Напрасно разослали мы в прошлую ночь наших слуг достать хотя бы немного хлеба и вина у окрестных жителей, – страх быть схваченными и убитыми удержал их от решительных шагов в этом направлении, так что сегодня мне пришлось с опасностью для жизни отправиться самому, дабы попытаться счастья. Небо, если видимость не обманывает меня, – продолжал он, пожимая руку старухи, – указало мне путь к сострадательным людям, не разделяющим жестокого, неслыханного озлобления, которое охватило всех жителей этого острова! Будьте добры, за щедрое вознаграждение наполните несколько корзин провизией и вином; нам осталось всего пять дневных переходов до Порт-о-Пренса, и если вы доставите нам возможность достигнуть этого города, то мы вечно будем считать вас людьми, спасшими нам жизнь.

– Да, это дикое озлобление удивительно! – лицемерно заметила старуха. – Не похоже ли это на то, как если бы руки, принадлежащие одному телу, или зубы одного рта затеяли между собой войну из-за того, что один член создан иначе, чем другой? Разве виновата я, отец которой родом из Сантьяго на Кубе, в том светлом оттенке, что виден на моем лице при дневном свете? И разве моя дочь, зачатая и рожденная в Европе, может отвечать за то, что ее кожа отражает сияние дня той части света?

– Как, – воскликнул гость, – вы, которая по чертам лица – несомненная мулатка и притом африканского происхождения, и эта милая метиска, которая пустила меня в дом, – вы также включены вместе с нами, европейцами, в один смертный приговор?

– Клянусь небом! – отвечала старуха, снимая с носа очки. – Неужели вы воображаете, что небольшое имущество, которое мы приобрели за многие годы горестным и тяжким трудом наших рук, не возбуждает злобу этих исчадий ада, этого свирепого разбойничьего сброда? Если бы нам не удалось обеспечить себя от преследования хитростью и всеми теми средствами, какие самозащита вкладывает в руки слабых, то, уж поверьте, тень кровного родства, разлитая на наших лицах, не могла бы нас оградить.

– Возможно ли? – воскликнул гость. – Кто же вас преследует на этом острове?

– Владелец этого дома, – отвечала старуха, – негр Конго Гоанго. Со смерти господина Гильома, прежнего владельца этой плантации, погибшего от его свирепой руки в самом начале восстания, мы, ведающие в качестве его родственниц его хозяйством, оказались в полной его власти и подвергаемся произволу и насилиям с его стороны. За каждый кусок хлеба, за каждый глоток вина, который мы из человеколюбия даем тому или другому белому беглецу, проходящему время от времени по большой дороге, он расплачивается с нами ругательствами и побоями; и у него нет большего желания, чем натравить на нас месть чернокожих, как на белых и креольских полусобак – так он нас называет, – частью, чтобы вообще с нами разделаться, зная, что мы порицаем его за свирепое отношение к белым, частью, чтобы завладеть тем небольшим имуществом, которое останется после нашей смерти.

– Ах вы, несчастные! – воскликнул гость. – Ах вы, жалкие создания! А где находится в настоящее время этот изверг?

– При войске генерала Дессалина, – отвечала старуха, – вместе с прочими чернокожими, принадлежавшими к этой плантации, он повез генералу транспорт пороха и свинца, в которых тот нуждается. Мы ожидаем его возвращения, если только он не примет участия в каком-либо новом предприятии, дней через десять – двенадцать; и если он тогда узнает, Боже упаси, что мы дали защиту и приют белому, пробиравшемуся в Порт-о-Пренс, в то время как он всеми силами участвовал в предприятии, направленном на полное их истребление на этом острове, то всех нас, поверьте, ждет неминуемая смерть.

– Бог, которому любезны человечность и сострадание, – отвечал гость, – оградит вас от пагубных последствий благодеяния, оказанного несчастному! А так как, – продолжал он, ближе пододвинувшись к старухе, – вы уже подали негру повод для гнева и ежели бы вы даже вернулись к послушанию, это бы вам уже не могло помочь, то не решились ли бы вы, за любое вознаграждение, какое вы только захотите назначить, предоставить моему дяде и его семейству, чрезвычайно утомленным путешествием, приют в вашем доме на один, на два дня, чтобы они могли хоть немного отдохнуть?

– Сударь! О чем вы просите? – воскликнула пораженная старуха. – Возможно ли приютить в доме, стоящем на большой дороге, такой большой караван, как ваш, чтобы об этом не узнали окрестные жители?

– А почему бы нет? – настойчиво возразил гость. – Если бы я сам сейчас же отправился к пруду Чаек и провел бы всю компанию в усадьбу еще до наступления дня; если бы вы всех нас – и господ и прислугу –

поместили в одной из комнат дома, а на всякий случай из предосторожности хорошенько заперли бы и окна и двери!

Старуха отвечала, взвесив сделанное ей предложение, что если он решится в эту ночь провести свой караван из горного ущелья, где он укрылся, в их усадьбу, то на пути сюда он неизбежно встретится с отрядом вооруженных негров, о прибытии которых по большой дороге предупредили высланные вперед стрелки.

– Ну что же! – сказал гость. – В таком случае мы удовлетворимся пока тем, что пошлем несчастным корзину с съестными припасами и отложим наше предприятие – перевод их в усадьбу – до следующей ночи. Согласитесь ли вы на это, добрая матушка?

– Ну, так и быть! – отвечала старуха, в то время как гость осыпал поцелуями ее костлявую руку. – Ради того европейца, отца моей дочери, я окажу эту услугу его соотечественникам, попавшим в беду. На рассвете садитесь и пишите записку вашим родным с приглашением прибыть ко мне в усадьбу; мальчик, которого вы видели во дворе, снесет вашу записку и кое-какую провизию и для их безопасности останется с ними в горах до ночи, а с наступлением ее, если приглашение будет принято, проведет ваш караван сюда.

Тем временем Тони вернулась из кухни, неся приготовленные ею кушанья, и, с усмешкой поглядывая на гостя, спросила, накрывая на стол:

– Ну что, мать, оправился ли наш гость от страха, обуявшего его у двери? Убедился ли он, что его здесь не подстерегают ни яд, ни кинжал и что негра Гоанго нет дома?

Мать отвечала со вздохом:

– Дитя мое, пословица говорит, что, обжегшись на молоке, дуют на воду. Наш гость поступил бы безрассудно, если бы он отважился вступить в дом, не убедившись предварительно в том, к какому племени принадлежат его обитатели.

Девушка встала перед матерью и рассказала ей, что она нарочно держала фонарь так, чтобы свет его полностью падал ей на лицо.

– Но воображение его было так полно маврами и неграми, – продолжала она, – что, даже если бы дверь ему отворила дама из Парижа или Марселя, он и ту принял бы за негритьянку.

Гость, тихонько обняв ее за талию, сказал смущенно, что шляпа, которая на ней была надета, помешала ему разглядеть ее лицо.

– Если бы я тогда имел возможность заглянуть в твои глаза, как я это делаю сейчас, – продолжал он, с жаром прижимая ее к своей груди, – то пусть бы все остальное в тебе было черно, я готов был бы выпить с тобою

из одного отравленного кубка.

Мать принудила его, сильно покрасневшего при этих словах, сесть за стол, после чего Тони опустилась рядом с ним и, облокотившись, смотрела ему в лицо, пока он ел. Гость спросил, сколько ей лет и какого города она уроженка, на что вместо нее ответила мать, что пятнадцать лет тому назад, во время путешествия по Европе, в котором она сопутствовала жене господина де Вильнев, ее прежнего хозяина, она зачала и родила Тони в Париже. К этому она добавила, что хотя негр Комар, за которого она впоследствии вышла замуж, и усыновил ее дочку, но настоящий ее отец – богатый негодяй из Марсея по имени Бертран, по нему-то девушка и называется Тони Бертран.

Тони спросила его, знал ли он такого господина во Франции. Гость отвечал, что нет, что страна велика и за то короткое время, пока он собирался сесть на корабль, отправляясь в Вест-Индию, ему не пришлось встречаться с лицом, которое носило бы такую фамилию. На это старуха заметила, что, по довольно достоверным справкам, которые она навела, господин Бертран не находится более во Франции.

– Его честолюбивый и энергичный характер, – сказала она, – не довольствовался скромной деятельностью частного лица; в начале революции он принял участие в общественных делах и в тысяча семьсот девяносто пятом году отправился с французским посольством к турецкому двору, откуда, насколько мне известно, он до сих пор еще не возвращался.

Гость с улыбкой, взяв Тони за руку, заметил, что в таком случае она – знатная и богатая девица. Он стал ее уговаривать воспользоваться этими преимуществами и высказал предположение, что она может еще надеяться соизволением своего отца попасть в более блестящие жизненные условия, чем те, в которых она находится в настоящее время.

– Едва ли, – возразила старуха со сдерживаемым волнением. – Господин Бертран еще в Париже, во время моей беременности, отказался на суде под присягой, из стыда перед своей молодой невестой, на которой он собирался жениться, признать себя отцом будущего ребенка. Я никогда не забуду этой его присяги, которую он имел наглость бросить мне в лицо. Последствием этого была желчная лихорадка и шестьдесят ударов плетью, которые велел мне дать господин де Вильнев, а вскоре последовала и чахотка, которой я страдаю до сих пор.

Тони, сидевшая задумчиво, подперев голову рукою, спросила гостя, кто он, откуда и куда идет, на что тот, после непродолжительного смущения, вызванного в нем озлобленной речью старухи, отвечал, что он едет из форта Дофина, с семейством своего дяди, господина Штремли,

которое он оставил в горных порослях, близ пруда Чаек, под охраной двух молодых двоюродных братьев. По просьбе девушки он рассказал несколько эпизодов, имевших место в этом городе во время вспыхнувшего восстания; как в глухую полночь, когда все было погружено в глубокий сон, по предательски поданному сигналу началось избиение белых чернокожими; как начальник негров, сержант французских инженерных войск, с сатанинской злобой тотчас поджег все суда в гавани, чтобы отрезать белым пути для бегства в Европу; как его семейство едва успело выбраться за городские ворота, захватив с собою лишь кое-какое имущество, и как при одновременной вспышке восстания во всех приморских поселениях им ничего иного не оставалось, как при помощи двух мулов, которых удалось раздобыть, пуститься в путь через весь остров, направляясь в Порт-о-Пренс, единственный город на Сан-Доминго, который под защитой значительных французских войск еще оказывал в настоящее время сопротивление победоносным силам негров. Тони спросила:

– Чем же белые возбудили к себе такую ненависть?

Гость отвечал смущенно:

– Общим их отношением к чернокожим, которое они проявляли, господствуя над островом, отношением, которое я, откровенно говоря, не решусь оправдывать; впрочем, эти порядки существуют уже многие столетия! Безумие свободы, охватившее все эти плантации, побудило негров и креолов разбить тяготившие их цепи и отомстить белым за многочисленные и заслуживающие всяческого порицания обиды, которые им причинили некоторые недостойные представители белой расы. Особенно ужасным и удивительным показался мне поступок одной молодой девушки, – продолжал он после краткого молчания. – Эта девушка, негритянка по происхождению, как раз в тот момент, когда вспыхнуло восстание, лежала больная желтой лихорадкой, эпидемия которой вспыхнула в это время, усугубляя бедственное положение в городе. Три года перед тем она была рабыней одного плантатора-европейца; этот последний, обиженный тем, что она не хотела удовлетворить его желания, сначала жестоко с нею обращался, а затем продал ее одному плантатору-креолу. В день общего восстания девушка узнала, что этот плантатор, ее бывший хозяин, убегая от преследовавших его разъяренных негров, скрылся в расположенном неподалеку дровяном сарае, и, памятуя нанесенные ей обиды, она с наступлением темноты послала к нему своего брата с приглашением переночевать у нее. Несчастный, не подозревая, что она больна, а тем более не ведая, какой болезнью она страдает, пришел к ней и, преисполненный благодарности, заключил ее в свои объятия, так как

почитал себя уже спасенным; но не успел он провести и получаса в ее кровати среди ласк и нежностей, как вдруг она поднялась с выражением дикой и холодной ярости и заговорила: «Ты целовал зачумленную, которая несет уже смерть в своей груди: иди же и передай всем тебе подобным желтую лихорадку!»

Офицер, в то время как старуха громко выражала по этому поводу свое негодование, спросил Тони, способна ли она совершить такой же поступок.

– Нет, – отвечала Тони в смущении, опустив глаза.

Гость, положив салфетку на стол, заявил, что, по его внутреннему чувству, ни один тиранический поступок, какой белые когда-либо совершили, не может оправдать столь низкого и отвратительного предательства.

– Само небесное возмездие, – воскликнул он, вскакивая с места со страстным движением, – обезоруживается таким деянием; даже возмущенные ангелы станут на сторону тех, что были не правы, и возьмут их дело под свое покровительство для поддержания божеского и человеческого порядка! – С этими словами он на мгновение подошел к окну и глянул в ночной мрак, затянувший месяц и звезды грозowymi тучами, и, так как ему показалось, что мать и дочь переглянулись между собой, хотя он и не заметил, чтобы они подали друг другу какие-либо знаки, им овладело какое-то неприятное и тягостное чувство; он обернулся и попросил, чтобы ему отвели комнату для ночлега.

Старуха заметила, взглянув на стенные часы, что к тому же уж близко к полуночи, взяла свечу и предложила гостю следовать за нею. Она провела его длинным коридором в отведенную ему комнату; Тони несла за ними его плащ и несколько других вещей, которые он сложил с себя при входе в дом; старуха указала ему удобную кровать с высоко взбитыми перинами, где он должен был спать, и, приказав Тони приготовить гостю ножную ванну, пожелала ему покойной ночи и удалилась. Гость поставил шпагу в угол и положил пару пистолетов, которые носил за поясом, на стол. Пока Тони выдвигала кровать и накрывала ее белой простыней, он оглядел комнату; и так как по вкусу и великолепию, с которыми она была убрана, он вскоре заключил, что эта комната должна была принадлежать прежнему владельцу плантации, то на его сердце, как коршун, пало беспокойное чувство, и он подумал, что лучше бы ему было сразу возвратиться в лес, к своим, даже не утолив голода и жажды. Девушка тем временем принесла из неподалеку расположенной кухни сосуд с горячей водой, испускавший аромат душистых трав, и предложила офицеру, который стоял, прислонившись к окну, омыться, чтобы восстановить свои силы. Офицер, молча

освободившись от галстука и жилета, опустился на стул; он уже собирался разуться и, в то время как девушка, стоя перед ним на коленях, заканчивала мелкие приготовления к ванне, принялся разглядывать ее привлекательную фигуру.

Волосы Тони, когда она наклонилась, становясь на колени, густыми локонами упали на ее молодую грудь; каким-то особым очарованием играли ее губы и осененные длинными ресницами глаза; если бы не цвет ее кожи, в котором для него было что-то отталкивающее, он готов был бы поклясться, что никогда не видел ничего более прекрасного. При этом его поразило какое-то отдаленное сходство – с кем, он и сам хорошенько не знал, – замеченное им уже при входе в дом, и это сходство невольно влекло его к ней. В то мгновение, когда она, заканчивая свои дела, поднялась с колен, он схватил ее за руку и, правильно заключив, что существует только одно средство проверить, есть ли у девушки сердце или нет, привлек ее к себе на колени и спросил, есть ли у нее жених.

– Нет! – прошептала девушка, с очаровательной стыдливостью опуская свои большие черные глаза.

Не пытаясь встать с его колен, она добавила, что, правда, живущий по соседству молодой негр Конелли месяца три тому назад посватался к ней, однако по причине своей молодости она ему отказала. Гость, охватив обеими руками ее стройный стан, сказал, что у него на родине, согласно распространенной там поговорке, когда девушке минет четырнадцать лет и семь недель, она уже достигла брачного возраста. Он спросил ее, в то время как она разглядывала золотой крестик, висевший у него на груди, сколько ей лет.

– Пятнадцать, – отвечала Тони.

– Вот видишь! – сказал гость. – Может быть, его средства не позволяют ему устроить свое хозяйство так, как ты бы того желала?

Тони, не подымая глаз и выпустив его крест, который она держала в руке, отвечала:

– О нет! Конелли после недавнего переворота сделался богатым человеком; его отцу досталась вся плантация, прежде принадлежавшая его хозяину-плантатору.

– Почему же ты ему отказала? – спросил гость. Он ласково пригладил волосы, сбившиеся ей на лоб, и спросил: – Может быть, он тебе не нравился?

Девушка, слегка встряхнув головой, засмеялась и вместо ответа на вопрос гостя, который тот шутливо шепнул ей на ухо: уж не решено ли у нее, что только белый должен завоевать ее расположение, – она, после

краткого мечтательного раздумья, вспыхнув сквозь загар очаровательным румянцем, вдруг прижалась к его груди. Гость, тронутый ее прелестью и лаской, назвал ее своей милой девушкой и, словно по мановению божества освободившись от всякой тревоги, заключил ее в свои объятия. Ему и в голову не приходило, что все эти движения, которые он в ней заметил, могли быть выражением хладнокровного, отвратительного вероломства. Мысли, тревожившие его, отлетели, как стая зловещих птиц; он порицал себя, что хотя бы на мгновение мог мысленно так оклеветать ее сердце, и в то время, как он баюкал ее на своих коленях, впивая сладостное дыхание, исходившее из ее уст, он, как бы в знак примирения и прощения, запечатлел поцелуй на ее челе.

Тем временем, внезапно прислушавшись, словно чьи-то шаги приближались по коридору к двери, девушка приподнялась; задумчиво и как бы погруженная в мечты, она поправила сбившийся на груди платок и, лишь убедившись в своей ошибке, снова обратилась с ясной улыбкой к гостю и напомнила ему, что вода, если он не поспешит ею воспользоваться, скоро простынет.

– Ну! – сказала она смущенно, так как гость молчал и задумчиво на нее глядел. – Отчего вы так пристально на меня смотрите?

Поправляя свой лиф, она старалась скрыть смущение, напавшее на нее, и со смехом воскликнула:

– Какой вы чудак! Что вас так поразило в моей наружности?

Гость провел рукой по лбу и, подавив вздох и спустив девушку с колен, сказал:

– Странное сходство между тобою и одной моей подругой!

Тони, заметившая, что его веселость развеялась, ласково и участливо взяла его за руку и спросила: «Кто она?» – на что после краткого раздумья тот отвечал:

– Звали ее Марианной Конгрев, родом она была из Страсбурга. Я познакомился с нею незадолго до революции в этом городе, где ее отец имел торговлю, и мне посчастливилось получить ее согласие, а также и предварительное одобрение ее матери. Ах, это было самое верное сердце во всем мире! И когда я гляжу на тебя, ужасные и трогательные обстоятельства, при которых я ее утратил, так живо воскресают в моей памяти, что я от грусти не могу удержать слез.

– Как? – спросила Тони, прижавшись к нему с сердечной и искренней лаской. – Разве ее больше нет в живых?

– Она умерла, – отвечал он, – и лишь после ее смерти я узнал всю полноту ее доброты и нравственного совершенства. Бог знает, как это

случилось, – продолжал он, горестно склонив голову на ее плечо, – что я в своем легкомыслии как-то вечером позволил себе в одном публичном месте высказать суждение о только что учрежденном в городе грозном революционном трибунале. На меня донесли, меня стали разыскивать; более того, не найдя меня, так как мне удалось скрыться в пригороде, орава моих разъяренных преследователей, которым во что бы то ни стало надо было иметь жертву, бросилась в дом моей невесты, и, озлобленные ее вполне правдивым ответом, что она не знает, где я нахожусь, под предлогом, что она состоит со мною в заговоре, они с неслыханным легкомыслием потащили ее вместо меня на место казни. Едва дошла до меня эта ужасная весть, как я тотчас покинул убежище, в котором укрылся, и, прорвавшись сквозь толпу, поспешил к месту казни; прибыв туда, я воскликнул: «Я здесь, бесчеловечные люди, я здесь!» Однако она, уже стоя на эшафоте, близ гильотины, на вопрос некоторых судей, к несчастью, меня не знавших, отвечала, отводя от меня взгляд, который навеки запечатлелся в моем сердце: «Этого человека я не знаю!» После чего, под треск барабанов и шум, поднятый кровожадной толпой, нож гильотины упал, и голова ее отделилась от туловища. Как я спасся – не знаю. Через четверть часа я оказался в доме одного друга, где один обморок у меня сменялся другим, и, наполовину лишившись рассудка, к вечеру я был посажен на телегу и перевезен на другой берег Рейна. – При этих словах, выпустив девушку, гость подошел к окну, и, когда она увидела, что он в чрезвычайном волнении прижал платок к лицу, ею овладело непосредственное человеческое чувство, вызванное самыми различными причинами; она последовала за ним, с внезапным порывом бросилась ему на шею и смешала свои слезы с его слезами.

Что произошло дальше, нам нет надобности сообщать читателям, ибо каждый, кто дойдет до этого места, сам легко догадается. Гость, когда опять пришел в себя, не мог отдать себе отчета в том, куда его приведет совершенное им; между тем одно было ясно для него: что он спасен и что в доме, в котором он находится, со стороны девушки ему нечего опасаться. Он пытался, при виде того, как она, ломая руки, горько плакала, лежа на кровати, сделать все возможное, чтобы ее утешить. Он снял с груди золотой крестик, подарок верной Марианны, его покойной невесты, и, склонившись над девушкой с бесконечными ласками, надел его ей на шею, назвав его своим обручальным даром. А так как она все обливалась слезами и не слушала его слов, то он присел на край постели и, взяв ее за руку, то глядя, то целуя ее, сказал, что на следующее же утро попросит у матери ее руки. Он описал ей свое небольшое, но совершенно независимое поместье на

берегах реки Ааре, дом, удобный и достаточно вместительный, чтобы в нем могли поселиться они двое и ее мать, если ее преклонные годы не помешают ей предпринять столь длинное путешествие; есть у него и поля, и сады, и луга, и виноградники, а престарелый и почтенный отец его примет ее с любовью и признательностью, ибо она спасла его сына. Когда же она продолжала орошать подушки обильными слезами, он заключил ее в свои объятия и, сам тронутый до слез, спросил, какое зло он причинил ей и может ли она его простить. Он клялся ей, что любовь никогда не угаснет в его сердце и что только в чаду странно спутавшихся ощущений смешанные чувства желания и боязни, которые она ему внушала, соблазнили его на такой поступок. Наконец он напомнил ей, что на небе уже взошли утренние звезды и что если она еще дольше останется в постели, то придет мать и застанет ее там; он убеждал ее, ради ее здоровья, встать и отдохнуть несколько часов на собственной кровати; он спрашивал, напуганный ее ужасным состоянием, не взять ли ее на руки и не отнести ли к ней в комнату; но так как она на все его речи продолжала молча всхлипывать, а голова ее, судорожно стиснутая руками, все еще покоилась на измятых подушках, то он был вынужден, когда в окнах уже брезжило утро, без дальнейших разговоров поднять ее; пока он нес ее вверх по лестнице в ее комнату, тело ее, как бездыханное, свешивалось с его плеч; опустив ее на кровать, он повторил, осыпая ее ласками, все, что говорил ей раньше, назвал ее еще раз своей милой невестой, крепко поцеловал в щеки и поспешил обратно в свою комнату.

Как только настал день, старая Бабекан поднялась в комнату дочери и, присев к ней на кровать, сообщила свой план относительно их гостя и его спутников. Она полагала, что, так как негр Конго Гоанго должен вернуться не ранее чем через два Дня, крайне важно задержать на это время гостя в их доме, не допуская в усадьбу всей семьи его родственников, присутствие которых при их многочисленности может стать опасным. С этой целью она задумала уверить гостя, что, по только что полученным сведениям, в эти места предполагает прибыть генерал Дессалин со своим войском и что, ввиду слишком большого риска, возможно будет, согласно его желанию, принять в доме его семейство не раньше как на третий день, когда генерал уже уедет. Тем временем, закончила она, чтобы удержать всю компанию на месте, ее надо будет снабжать продовольствием, а также, чтобы впоследствии захватить их, поддерживать в них надежду, что они найдут убежище в этом доме. Она заметила, что дело это весьма важное, ибо надо полагать, что семейство везет с собою значительное имущество, и потребовала от дочери, чтобы та всеми силами содействовала ей в

осуществлении ее замысла. Тони, приподнявшись на постели, причем краска негодования покрыла ее лицо, возразила, что подло и низко нарушать законы гостеприимства по отношению к людям, которых сами они завлекли в дом. Она заявила, что человек гонимый, который отдался под их защиту, должен быть вдвойне в безопасности в их доме, и завершила мать, что, если та не откажется от своего кровавого замысла, о котором только что сообщила, она немедленно пойдет к их гостю и откроет ему, в каком разбойничьем вертепе он рассчитывал найти надежное убежище.

– Тони! – воскликнула мать, подбоченившись и глядя на нее широко раскрытыми глазами.

– Разумеется! – отвечала Тони, понижая голос. – Что сделал нам этот юноша – который к тому же и не француз по происхождению, а, как мы от него узнали, швейцарец, – чтобы мы, как разбойники, напали на него, убили и ограбили? Да и распространяются ли обвинения, которые предъявляют здесь к плантаторам, и на ту часть острова, откуда он пришел? Не видно ли по всему, что он, напротив, – благороднейший, прекраснейший человек и что он отнюдь не сочувствует тем несправедливостям, в которых негры могут упрекнуть его соплеменников?

Старуха, наблюдавшая странное выражение лица девушки, могла выговорить дрожащими губами лишь, что она удивлена. Она спросила ее, в чем же провинился тот молодой португалец, которого недавно свалили с ног под воротами ударами палиц. Она спрашивала, какое преступление совершили те два голландца, которые три недели тому назад пали у них на дворе под пулями негров. Она хотела бы знать, какое обвинение можно было предъявить тем трем французам, да и стольким другим одиночным беглецам из белых, которых с начала восстания казнили в их доме при помощи ружей, копий и кинжалов.

– Клянусь небом! – сказала дочь, вскочив в диком порыве. – Напрасно напоминаешь ты мне обо всех этих ужасах! Зверства, в которых вы заставляли меня участвовать, давно возмущали мое внутреннее чувство; и чтобы отворотить от себя праведный Божий гнев, клянусь тебе, что я скорее готова десять раз умереть, чем допустить, чтобы у этого юноши, пока он живет в нашем доме, хотя бы один волос упал с головы.

– Ну что же, – сказала старуха с внезапно появившимся выражением уступчивости, – пусть он уезжает! Но когда вернется Конго Гоанго, – добавила она, вставая и собираясь выйти из комнаты, – и узнает, что у нас в доме переночевал белый, то ты будешь отвечать за то сострадание, которое побудило тебя, наперекор его строжайшему приказу, дать беглецу возможность продолжать свой путь.

После этого заявления, в котором, несмотря на кажущуюся кротость, прорывалось скрытое озлобление старухи, девушка, немало потрясенная, осталась в комнате одна. Ей слишком хорошо была известна ненависть старухи к белым, чтобы она могла поверить, будто последняя упустит такой случай утолить свою злобу. Страх, как бы та не послала немедленно на соседние плантации за неграми, чтобы захватить их гостя, побудил ее тотчас одеться и поспешить за матерью в нижний этаж. В то время как старуха с расстроенным видом отошла от буфета, у которого она, видимо, чем-то была занята, и села за прятку, Тони встала перед прибитым к двери приказом, в котором, под страхом смертной казни, неграм запрещалось предоставлять белым кров и защиту, и, как бы охваченная страхом и словно сознавая свою вину, вдруг обернулась и упала к ногам старухи, которая, как она знала, наблюдала за нею сзади. Охватив ее колени, она умоляла простить ей безумные слова, которые она позволила себе произнести в защиту их гостя; оправдывалась своим полусонным состоянием, когда мать, застав ее в постели, неожиданно сообщила ей свой план, как его обмануть, и заявила, что, безусловно, готова предать его каре, установленной законами страны, согласно которым он должен быть уничтожен. Старуха после минутного молчания, во время которого она пристально глядела на дочь, сказала:

– Клянусь небом, это твое заявление спасло ему жизнь на сегодняшний день! Ибо, ввиду твоей угрозы взять его под свое покровительство, отравленное кушанье, которое предало бы его, по крайней мере мертвого, в руки Конго Гоанго, согласно его приказу, было уже готово. – С этими словами она встала и вылила за окно горшок с молоком, стоявший на столе.

Тони, не верившая своим глазам, с ужасом глядела на мать. Старуха тем временем снова уселась и, подняв все еще стоявшую на коленях девушку, спросила, что могло за одну ночь так изменить весь образ ее мыслей? Долго ли она оставалась у гостя вчера после того, как приготовила для него ванну, и много ли с ним говорила? Однако Тони, которая в волнении тяжело вздыхала, ничего не отвечала на эти вопросы или отвечала неопределенно; опустив глаза, стояла она, держась за голову, и ссылалась на приснившийся ей сон; но достаточно было для нее одного взгляда на грудь ее несчастной матери, сказала она, поспешно наклоняясь и целуя ее руку, чтобы вспомнить всю бесчеловечность той породы, к которой принадлежал их гость; отвернувшись и спрятав лицо в ее фартук, Тони уверяла, что, когда придет негр Конго Гоанго, мать убедится в том, какая у нее преданная дочь.

Бабекан еще сидела погруженная в раздумье, недоумевая, что могло

вызвать непонятную страстность девушки, как в комнату вошел гость с письмом в руке, написанным им у себя в спальне, в котором он приглашал своих родных провести несколько дней на плантации негра Конго Гоанго. Он весело и приветливо поздоровался с матерью и дочерью и, передавая записку старухе, попросил немедленно отправить кого-нибудь в лес и позаботиться о его спутниках согласно данному ему обещанию. Бабекан встала и с выражением беспокойства сказала, кладя письмо в шкаф:

– Сударь, мы вас попросим немедленно вернуться в вашу спальню. Вся дорога полна отдельными отрядами негров; от них мы узнали, что генерал Дессалин направляется с войском в эти края. Этот дом, открытый для всякого прохожего, не может служить вам безопасным убежищем, если вы не скроетесь в вашей спальне, выходящей окнами во двор, и не затворите самым тщательным образом двери и оконные ставни.

– Как, – воскликнул гость в удивлении, – генерал Дессалин?...

– Не спрашивайте, – перебила его старуха, три раза стукнув палкой по полу, – в вашей спальне, куда я последую за вами, я вам все расскажу.

Гость, которого старуха почти вытолкала из комнаты с выражением живейшей тревоги, обернулся еще раз уже в самых дверях и воскликнул:

– Но нельзя ли, по крайней мере, послать к моим родным – ведь они ждут меня – кого-нибудь, кто бы их?...

– Все будет сделано, – снова перебила его старуха, в то время как входил вызванный ее стуком незаконнорожденный мальчик, с которым мы уже познакомились; и тогда мать приказала Тони, которая стояла против зеркала, повернувшись спиной к гостю, чтобы та взяла из угла корзину с провизией; после чего мать, дочь, их гость и мальчик отправились наверх, в его спальню.

Здесь, покойно расположившись в креслах, старуха рассказала, как всю ночь на горах, замыкающих горизонт, виднелся огонь костров генерала Дессалина, – обстоятельство, соответствовавшее действительности, хотя до настоящего времени в этой местности еще не показывался ни один негр из армии Дессалина, продвигавшейся к Порт-о-Пренсу с юго-запада. Ей удалось этим возбудить в госте сильнейшую тревогу, которую она, однако, вслед за тем постаралась рассеять заверением, что даже в случае назначения этого дома под постой она сделает все от нее зависящее для его спасения. После его неоднократных и настойчивых напоминаний о ее обещании помочь при этих обстоятельствах его семейству хотя бы продовольствием она взяла из рук дочери корзину и, передавая ее мальчику, приказала ему отправиться в близлежащие горные поросли, к пруду Чаек, и передать корзину расположившемуся там семейству их гостя офицера; при

этом пусть он добавит, что сам офицер жив и здоров и что его сострадательно приняли в свой дом друзья белых, которые за свое сочувствие им сами много потерпели от чернокожих. Затем она поручила сказать им, что, как только большая дорога очистится от шаек вооруженных негров, которые ожидают в скором времени, будут приняты меры к тому, чтобы предоставить убежище в этом доме и всему семейству.

– Ты понял? – спросила она в заключение.

Мальчик, поставив корзину себе на голову, отвечал, что хорошо знает описанный ему пруд Чаек, так как не раз ловил в нем с товарищами рыбу, и что все порученное ему передаст семье господина офицера. Гость на вопрос старухи, не хочет ли он еще что-нибудь добавить, снял с пальца кольцо и вручил его мальчику, приказав передать его главе семейства, господину Штремлю, в знак того, что все, что он сообщит, отвечает истине. После этого мать приняла ряд мер, которые, как она говорила, должны были обеспечить безопасность ее гостя; приказала Тони запереть ставни на окнах, а сама, чтобы рассеять воцарившийся в комнате мрак, при помощи огнива, лежавшего на карнизе камина, не без труда, так как трут не загорался, зажгла свечу. Гость воспользовался этой минутой, чтобы нежно обвить рукою стан Тони, и шепотом на ухо спросил ее, как она спала и не следует ли ему сообщить ее матери о том, что произошло; однако на первый вопрос Тони ничего не ответила, а на второй, увернувшись из его объятий, сказала:

– Нет! Ни слова, если вы меня любите!

Она старалась не выдать страха, который возбуждали в ней все эти лживые меры, и под предлогом приготовления завтрака для гостя поспешно бросилась в нижнюю комнату.

Она взяла из шкафа матери письмо, в котором гость наивно предлагал своим родным последовать за мальчиком в усадьбу, – на авось, в надежде, что мать не заметит исчезновения письма; и, решившись в худшем случае погибнуть вместе с ним, она уже летела по дороге вдогонку мальчику. Ибо перед Богом и собственным сердцем она теперь уже видела в юноше не только гостя, которому дала защиту и убежище, но своего жениха и супруга, о чем и предполагала открыто заявить матери, на испуг которой она рассчитывала, когда численное превосходство в их доме окажется на его стороне.

– Нанки, – заговорила она, когда, совершенно запыхавшись, успела догнать мальчика на большой дороге, – мать изменила свой план касательно семьи господина Штремля! Возьми это письмо! Оно адресовано на имя старого господина Штремля, главы семейства, и содержит

приглашение погостить несколько дней в нашей усадьбе со всеми его домочадцами. Будь умником и сделай все возможное, чтобы этот план осуществился; негр Конго Гоанго наградит тебя, когда вернется домой!

– Ладно, ладно, тетка Тони! – отвечал мальчик. Тщательно завернув письмо и пряча его в карман, он спросил: – Должен ли я служить проводником каравану на его пути сюда?

– Конечно! – отвечала Тони. – Это ведь само собою понятно, так как они незнакомы с здешней местностью. Однако, ввиду того, что по большой дороге, возможно, будут проходить воинские отряды, вы должны выступить не ранее полуночи, но в то же время двигаться по возможности скорее, чтобы прибыть сюда до рассвета. Можно ли на тебя положиться? – спросила она.

– Доверьтесь Нанки! – отвечал мальчик. – Я ведь знаю, зачем вы заманиваете этих белых беглецов на плантацию; негр Гоанго останется мною доволен!

После этого Тони подала гостю завтрак; и, когда посуда была убрана, мать и дочь отправились по хозяйственным делам в переднюю жилую комнату. Как и надо было ожидать, мать через некоторое время подошла к шкафу и, естественно, обнаружила исчезновение письма. Не доверяя своей памяти, она приложила на мгновение руку ко лбу и спросила Тони, куда она могла девать письмо, которое получила из рук гостя. Тони после небольшой паузы ответила, опустив голову, что гость, насколько ей известно, на ее глазах снова спрятал его в карман и разорвал в присутствии их обеих наверху, у себя в комнате. Мать с удивлением посмотрела на дочь; она сказала, что хорошо помнит, что получила письмо из его рук и положила его в шкаф; но, не найдя его там после продолжительных поисков и не доверяя своей памяти ввиду неоднократных подобных случаев забывчивости, она вынуждена была поверить тому, что сказала ей Тони. Между тем она не могла подавить в себе чувства сильной досады по этому поводу и сказала, что письмо это чрезвычайно пригодились бы негру Гоанго, чтобы завлечь на плантацию семейство их гостя. В полдень и вечером, в то время как Тони подавала гостю кушанья, старуха присаживалась к углу стола, чтобы занять его разговором, и несколько раз пыталась спросить его о письме; но всякий раз, как разговор касался этой опасной темы, Тони искусно отклоняла или запутывала его, и матери так и не удалось выяснить из слов гостя судьбу письма. Так прошел день; после ужина старуха из предосторожности, как она говорила, заперла комнату гостя; и посоветовавшись еще с Тони, при помощи какой хитрости она могла бы снова выманить у гостя такое же письмо, она отправилась на покой и

приказала девушке также ложиться спать.

Как только Тони пришла к себе в комнату и убедилась, что мать ее заснула, она поставила образ Пречистой Девы, висевший над ее кроватью, на стул и, сложив руки, опустилась перед ним на колени. В пламенной молитве она просила Спасителя, ее Божественного Сына, ниспослать ей мужество и решимость открыть юноше, которому она отдалась, преступления, лежавшие тяжким бременем на ее юной душе. Она давала обет, чего бы это ни стоило ее сердцу, не скрыть от него ничего, не утаить даже безжалостного и ужасного намерения, с которым вчера заманила его в дом; но ради тех шагов, которые она уже предприняла для его спасения, она надеялась, что он простит ее и, как преданную жену, увезет с собою в Европу. Чудесно подкрепленная этой молитвой, она поднялась и, захватив главный ключ, отпиравший все замки в доме, медленно, не зажигая огня, направилась по узкому коридору, пересекавшему все здание, к комнате гостя. Тихо открыв дверь, она подошла к кровати, на которой он покоился, погруженный в глубокий сон. Месяц освещал его цветущее лицо, и ночной ветер, проникая в открытое окно, играл волосами на его лбу. Она тихо склонилась над ним и, впивая в себя его сладостное дыхание, позвала его по имени; однако он был объят глубоким сном, коего содержанием, по-видимому, служила она; по крайней мере, она несколько раз слышала, как его пылающие, трепещущие уста шептали имя: «Тони». Неопишуемая грусть овладела ею: она не могла решиться низвергнуть его с небесной высоты сладостных видений в пучину пошлой и жалкой действительности: и, будучи уверена, что рано или поздно он проснется сам, она опустилась возле его кровати на колени и стала осыпать его дорогую руку поцелуями.

Но кто опишет ужас, охвативший ее сердце спустя несколько мгновений, когда она вдруг услышала во дворе говор людей, конский топот и бряцанье оружия и среди этого шума совершенно отчетливо узнала голос негра Конго Гоанго, который неожиданно вернулся со всеми своими людьми из лагеря генерала Дессалина. Избегая лунного света, который мог ее выдать, она бросилась к оконным занавескам и, скрывшись за ними, слышала, как мать сообщала негру обо всем, что без него произошло, а также о присутствии беглеца-европейца в их доме. Негр приглушенным голосом приказал своим спутникам не шуметь во дворе. Он спросил старуху, где в эту минуту находится их гость; та указала ему комнату и не замедлила передать тот странный разговор, который у нее произошел с дочерью по поводу беглеца. Она уверяла негра, что девушка – предательница и что всему ее замыслу захватить беглеца грозит крушение. По крайней мере, она знает, что негодная обманщица с наступлением ночи

прокралась в его комнату и даже сейчас покоится в его постели; по всей вероятности, если чужестранец еще не успел убежать, то она предостерегает его в эту минуту и условливается с ним, как ему осуществить бегство. Негр, уже не раз испытывавший верность девушки в подобных случаях, отвечал, что это едва ли возможно. А затем он в бешенстве крикнул: «Келли и Омра! Возьмите ваши ружья!» – и, не говоря ни слова, стал подыматься по лестнице в сопровождении всех своих негров, направляясь к комнате гостя.

Тони, перед глазами которой разыгралась в течение немногих минут вся эта сцена, стояла, не в силах пошевелить ни одним членом, словно пораженная громом. Одно мгновение она думала разбудить гостя; но, во-первых, двор был занят неграми и потому бегство было невозможно, а во-вторых, она предвидела, что он сразу схватится за оружие, а это, при численном превосходстве противника, привело бы к немедленному убийству гостя. Кроме того, ей не могло здесь не прийти в голову ужасное соображение, что несчастный, увидев ее в это мгновение у своей постели, почтет ее за предательницу и, потеряв совершенно голову от этой мысли, вместо того чтоб слушаться ее советов, сам отдастся в руки негра Гоанго. Среди всех этих невыразимых волнений и страхов ей вдруг попала на глаза веревка, которая невесть по какой случайности висела на дверной задвижке. Сам Бог, подумала она, срывая веревку, положил ее там для спасения ее и ее друга. Она обмотала юношу по рукам и по ногам, завязав много узлов, а затем, не обращая внимания на то, что он шевелился и упирался, она притянула и крепко привязала концы веревки к кровати; в радости, что ей удалось овладеть данным мгновением, она запечатлела поцелуй на его устах и поспешила навстречу негру Гоанго, который уже подымался по лестнице, гремя оружием.

Негр, все еще не доверявший доносу старухи в отношении Тони, увидев ее выходящей из указанной комнаты, остановился, пораженный и смущенный, в коридоре со своей бандой, которая сопровождала его с факелами и ружьями. Он воскликнул:

– Предательница! Изменница! – и, обернувшись к Бабекан, которая сделала несколько шагов по направлению к двери гостя, спросил ее: – Что чужестранец, убежал?

Бабекан, найдя дверь отворенною, не заглянув в нее, закричала как бешеная:

– Обманщица! Она дала ему возможность бежать! Скорее! Займите все выходы, пока он не успел выскочить на волю!

– Что случилось? – спросила Тони с удивлением, глядя на старика и на

окружавших его негров.

– Что случилось? – ответил Гоанго, и с этими словами он схватил ее за грудь и втащил в комнату.

– Вы с ума сошли! – воскликнула Тони, оттолкнув от себя старика, остолбеневшего в изумлении от того, что представилось его взорам. – Вот лежит чужестранец, крепко привязанный мною к кровати; и клянусь небом, это не худшее, что я сделала на своем веку! – Сказав это, она отвернулась от него и села к столу, притворяясь, что плачет. Старик обратился к матери, стоявшей тут же в смущении, и сказал:

– О Бабекан, какими сказками ты меня морочила?

– Слава Богу! – отвечала мать, сконфуженно осматривая веревку, которой был связан чужестранец. – Беглец здесь, хотя я не могу понять, в чем тут дело.

Негр, вложив саблю в ножны, подошел к кровати и спросил чужестранца, кто он, откуда пришел и куда направляется. Но, так как тот, судорожно силясь освободиться от уз, ничего не отвечал и лишь мучительно и горестно восклицал: «О, Тони! О, Тони!» – то заговорила старуха, заявив, что он – швейцарец по имени Густав фон дер Рид и прибыл из форта Дофина с целым семейством европейских собак, скрывающихся в настоящее время в горных порослях близ пруда Чаек. Гоанго, заметив, что девушка сидела, уныло оперев голову на руки, подошел к ней, назвал своей милой девочкой, потрепал по щеке и попросил простить ему слишком поспешное недоверие, которое он проявил к ней. Старуха, которая тоже подошла к дочери, подбоченившись и покачивая головой, спросила, зачем она привязала чужестранца веревкой к кровати, хотя он и не подозревал о грозившей ему опасности. На это Тони, действительно расплакавшись от горя и бешенства, отвечала, порывисто обернувшись к матери:

– Оттого, что у тебя нет ни глаз, ни ушей! Оттого, что он отлично понял, какая опасность ему грозит. Оттого, что он хотел бежать, что он просил меня помочь ему в этом, что он замышлял на твою жизнь и наверное осуществил бы уже утром свой замысел, если бы я не связала его сонного.

Старик приласкал и успокоил девушку и велел Бабекан больше не говорить об этом деле. Он вызвал несколько стрелков с ружьями, дабы выполнить веление закона, под действие которого попал чужестранец; но Бабекан шепнула ему тайком:

– Ради Бога! Не делай этого, Гоанго!

Она отвела его в сторону и объяснила ему, что, прежде чем казнить чужестранца, надо от него добиться, чтобы он написал приглашение своим

родственникам, дабы при его помощи заманить их на плантацию, – ведь бой с ними в лесу представляет немало опасностей. Гоанго, принимая во внимание, что чужестранцы, по всей вероятности, вооружены, одобрил это предложение; ввиду позднего времени он отложил написание письма, о котором шла речь, и поставил при белом двух сторожей; и после того как для большей верности он еще раз исследовал веревку и, найдя ее слишком слабою, призвал двух людей, чтобы потуже ее стянуть, он со всей своей бандой покинул комнату, и все постепенно успокоилось и погрузилось в сон.

Но Тони – которая лишь для вида попрощалась со стариком, еще раз протянувшим ей руку, и легла в постель, – едва только убедилась, что все в доме затихло, тотчас встала, прокралась задними воротами на волю и с диким отчаянием в груди побежала по тропинке, пересекающей большую дорогу и ведущей к той местности, откуда должен был подойти господин Штремли со своим семейством. Ибо взгляды глубокого презрения, которые, лежа на кровати, бросал на нее их гость, мучительно, как острые ножи, пронзили ей сердце; к ее любви к нему примешивалось чувство жгучей горечи, и она ликовала при мысли, что в предприятии, затеянном ею для его спасения, она найдет смерть. Опасаясь, как бы не разминуться с семейством, она остановилась у ствола пинии, мимо которой компания господина Штремли должна была пройти, если посланное ей приглашение было принято; и вот согласно уговору, едва забрезжило утро на горизонте, как вдалеке из-за деревьев послышался голос мальчика Нанки, служившего проводником каравану.

Шествие состояло из господина Штремли и его супруги, которая ехала на муле, из пяти детей, из коих двое, Готфрид и Адельберт, юноши восемнадцати и семнадцати лет, шли рядом с мулом, из трех слуг и двух служанок, из коих одна держала на руках грудного ребенка и ехала на другом муле; всего – двенадцать человек. Караван продвигался медленно через корни сосен, пересекавшие своими узловатыми извилинами дорогу по направлению к пинии, где Тони, как можно бесшумнее чтобы никого не испугать, выступила из тени дерева и крикнула приближавшемуся шествию: «Стойте!» Мальчик тотчас ее узнал и на вопрос, где господин Штремли, радостно представил ее престарелому главе семейства, а все остальные – мужчины, женщины и дети – окружили ее.

– Благородный господин! – сказала Тони, твердым голосом прерывая его приветствия. – Негр Гоанго совершенно неожиданно явился со всеми своими людьми на плантацию. Вы не можете теперь прибыть туда, не подвергая жизни величайшей опасности; более того, ваш племянник,

который, к несчастью, там был принят, погибнет, если вы не возьметесь за оружие и не последуете за мною на плантацию, чтобы освободить его из заключения, в котором его держит негр Гоанго!

– Боже милостивый! – воскликнули в страхе все члены семейства, а мать, которая была больна и измучена путешествием, упала без чувств с мула на землю. В то время как служанки сбежались на зов господина Штремли, чтобы помочь своей госпоже, Тони, которую юноши закидали вопросами, отвела главу семейства и остальных мужчин в сторону из опасения перед мальчиком Нанки. Не сдерживая слез стыда и раскаяния, она рассказала мужчинам все, что произошло: каково было положение дел в усадьбе, когда туда прибыл юноша; как после разговора с ним с глаза на глаз оно изменилось непостижимым образом; что она сделала после прибытия негра, почти лишившись рассудка от страха, и как она готова отдать жизнь, чтобы освободить его из того заключения, в которое сама его ввергла.

– Мое оружие! – воскликнул господин Штремли, спешно направляясь к мулу своей жены и снимая с него ружье. Пока его молодцы-сыновья, Адельберт и Готфрид, и трое храбрых слуг тоже вооружались, он сказал:

– Кузен Густав многим из нас спас жизнь, теперь настал наш черед оказать ему такую же услугу!

С этими словами он снова посадил оправившуюся жену на мула, приказал из предосторожности связать руки мальчику Нанки, как своего рода заложнику, и отправил всех женщин и детей под охрану одного лишь тринадцатилетнего своего сына Фердинанда, тоже вооружившегося, обратно, к пруду Чаек; затем он расспросил Тони, которая также взяла шлем и пику, о числе негров и об их размещении в усадьбе и, обещав ей пощадить Гоанго и ее мать, насколько то дозvoлят обстоятельства, смело и уповая на Бога стал во главе своего маленького отряда и выступил под водительством Тони по направлению к усадьбе.

Как только маленький отряд прокрался во двор через задние ворота, Тони показала господину Штремли комнату, в которой спали Гоанго и Бабекан; и в то время как господин Штремли без шума входил со своими людьми в незапертый дом и захватывал все сложенное в нем оружие негров, девушка прокралась в конюшню, где спал сводный брат Нанки, пятилетний Сеппи. Ибо Нанки и Сеппи, незаконнорожденные сыновья Гоанго, были ему очень дороги, особенно Сеппи, мать которого недавно скончалась; а так как, даже в случае, если бы удалось освободить юношу, отступление к пруду Чаек и бегство оттуда в Порт-о-Пренс, к которому она предполагала присоединиться, было бы сопряжено с большими

трудностями, то она решила вполне основательно, что обладание обоими мальчиками в качестве своего рода заложников будет чрезвычайно полезным на случай преследования каравана неграми. Ей удалось незаметно взять из кровати мальчика и перенести его на руках в полудремотном состоянии в главное здание. Между тем господин Штремли, как мог осторожнее, прокрался со своим отрядом в комнату Гоанго; но вместо того, чтобы застать его и Бабекан в постели, как он предполагал, их нашли разбуженными шумом, полунагими, беспомощно стоящими посреди комнаты. Господин Штремли, взяв в руки ружье, крикнул им, чтобы они сдавались, иначе им грозит неминуемая смерть. Но Гоанго вместо ответа сорвал со стены пистолет и выпалил в прищельцев, причем пуля слегка задела лоб господина Штремли. По этому сигналу весь отряд последнего бешено кинулся на негра, и Гоанго, успевший вторично выстрелить и пробить плечо одному из слуг, был ранен сабельным ударом в руку; его и Бабекан повалили на землю и привязали веревками к ножкам большого стола.

Тем временем негры Гоанго – числом более двадцати, – разбуженные выстрелами, выскочили из своих барачков и, заслышав вопли старухи Бабекан, бешено устремились к дому, чтобы снова овладеть своим оружием. Напрасно господин Штремли, рана которого оказалась незначительной, расставил своих людей у окон дома и приказал им сдерживать натиск негров, открыв по ним ружейный огонь; нападающие, невзирая на двух убитых товарищей, уже лежавших на дворе, бросились за топорами и ломачами, чтобы взломать входные двери, которые господин Штремли успел запереть на засов, – в эту минуту дрожащая и трепещущая Тони вошла в комнату Гоанго с маленьким Сеппи на руках. Господин Штремли, для которого ее появление было чрезвычайно желанным, вырвал у нее из рук мальчика и, обнажив свой охотничий нож, обратился к Гоанго, клятвенно заверяя его, что он тут же убьет мальчика, если Гоанго не прикажет неграм отказаться от своего намерения. Гоанго, силы которого были надломлены сабельным ударом по трем пальцам его правой руки и который понимал, что собственная его жизнь будет в опасности в случае его отказа, отвечал после краткого размышления, что он готов исполнить это требование, и попросил, чтобы ему помогли подняться с пола; господин Штремли подвел его к окну; и старый негр, взяв в левую руку платок, махнул им во двор и крикнул неграм, чтобы они не трогали дверь и вернулись в свои бараки, так как для спасения его жизни не требуется их помощи. После этого бой несколько затих; по требованию господина Штремли Гоанго послал захваченного в доме негра, чтобы повторить

приказание еще оставшейся во дворе кучке совещавшихся между собой людей; а так как чернокожие, хотя и не понимавшие, что, собственно, происходит, были вынуждены повиноваться приказанию, определенно переданному им через посланного, то им пришлось отказаться от своего предприятия, для которого тем временем все уже было готово, и направиться один за другим, хотя и с ропотом и бранью, обратно в свои бараки. Господин Штремли, приказав связать на глазах у Гоанго руки маленького Сеппи, заявил ему, что единственная его цель – это освободить офицера, своего племянника, из заключения, которому он был подвергнут на плантации, и что если их бегству в Порт-о-Пренс не будут ставить никаких препятствий, то ни малейшая опасность не грозит ни его жизни, ни жизни его детей, которые будут ему возвращены. Бабекан, к которой Тони подошла, протянув ей под влиянием непреодолимого чувства на прощание руку, с силой оттолкнула ее. Она обозвала ее низкой изменницей и, повернувшись у ножки стола, около которой лежала, воскликнула, что ее еще настигнет Божья кара, раньше чем она успеет порадоваться плодам своего позорного деяния. Тони отвечала:

– Я вам не изменяла; я – белая и обручена с тем юношей, которого вы захватили в плен; я принадлежу к расе тех людей, с коими вы ведете открытую войну, и готова отвечать перед Богом за то, что стала на их сторону.

После этого господин Штремли приставил стражу к негру Гоанго, которого для большей безопасности снова приказал привязать к двери; он велел поднять и унести слугу, лежавшего в обмороке, с раздробленной ключицей, и, сказав Гоанго, что по прошествии нескольких дней он может послать за обоими детьми, Нанки и Сеппи, в Сен-Люс, где стоят первые французские аванпосты, он взял за руку Тони, которая под влиянием разнообразных чувств не могла сдержать слез, и вывел ее, провожаемую проклятиями Бабекан и Гоанго, из спальни.

Тем временем сыновья господина Штремли, Адельберт и Готфрид, уже после окончания первого, главного боя, когда они стреляли из окон, по приказанию отца отправились в комнату своего двоюродного брата, где им удалось после упорного сопротивления одолеть стороживших его чернокожих. Один лежал мертвым в комнате, другой с тяжелой огнестрельной раной выполз в коридор. Оба брата, из коих один, старший, и сам был легко ранен в бедро, развязали своего дорогого, любимого кузена; они обняли и поцеловали его и с радостными восклицаниями вручили ему его ружье и шпагу, приглашая последовать за ними в передние комнаты, где после одержанной победы господин Штремли уже, верно,

отдает распоряжения к отступлению. Однако кузен Густав, приподнявшись на постели, ласково пожал им руки, но, в общем, был молчалив и рассеян, и вместо того, чтобы схватить пистолеты, которые ему протягивали, он поднял правую руку и с невыразимой скорбью на лице провел ею по лбу. Юноши, подсевшие к нему, спросили его, что с ним такое, и так как он, обняв их, молча опустил голову на плечо младшего из братьев, то Адельберт, думая, что с ним дурно, собрался было встать, чтобы принести ему стакан воды; но в это мгновение в комнату вошла Тони с маленьким Сеппи на руках в сопровождении господина Штремли. При виде ее Густав страшно побледнел; пытаясь подняться с постели, он держался за своих друзей, и раньше, чем те могли сообразить, что он собирается делать с пистолетом, который теперь взял у них, он, в бешенстве скрежеща зубами, выстрелил из него в Тони. Пуля попала ей прямо в грудь; и в то мгновение, как она, издав жалобный стон, передала мальчика господину Штремли и, сделав несколько шагов по направлению к Густаву, упала перед ним, он бросил пистолет через ее голову, оттолкнул ее ногой и снова опустился на кровать, обозвав ее распутной девкой.

– Чудовище! – воскликнули господин Штремли и его сыновья. Юноши бросились к девушке и позвали, приподымая ее, старика слугу, который уже не раз оказывал врачебную помощь членам их экспедиции в подобных же отчаянных случаях; но девушка, судорожно зажимавшая рукою рану, отстранила друзей и с усилием проговорила в предсмертном хрипении, указывая на стрелявшего в нее:

– Скажите ему... – и снова повторила: – Скажите ему...

– Что мы должны ему сказать? – спросил господин Штремли, в то время как смерть уже смыкала ей уста. Адельберт и Готфрид, поднявшись, крикнули виновнику непостижимого, ужасного убийства, знает ли он, что эта девушка – его спасительница; что она его любит, что она намеревалась бежать в Порт-о-Пренс с ним, ради которого она пожертвовала всем – родителями и имуществом? Они громко кричали ему в уши: «Густав!» – и спрашивали его, не оглох ли он, они трясли его и дергали за волосы, так как он бесчувственно лежал на кровати, не обращая на них никакого внимания.

Но вот Густав поднялся; он бросил взгляд на девушку, валявшуюся перед ним в крови, и ярость, вызвавшая этот поступок, естественно уступила место общечеловеческому чувству жалости. Господин Штремли, орошая платок горячими слезами, спросил:

– Несчастный! Зачем ты это сделал?

На это его племянник Густав, вставший с постели и разглядывавший

девушку, отвечал, утирая пот, выступивший у него на лбу, что она ночью предательски его связала и выдала негру Гоанго.

– Ах! – воскликнула Тони, протянув к нему с непередаваемым выражением руку. – Я связала тебя, мой драгоценный друг, потому что... – Но она не могла говорить и не могла дотянуться до него рукой и снова в изнеможении упала на колени господина Штремли.

– Почему? – спросил побледневший Густав, опускаясь с нею рядом на колени.

Господин Штремли после продолжительного молчания, прерываемого лишь предсмертным хрипением Тони, от которой напрасно ждали ответа, заговорил:

– Потому что по прибытии Гоанго не было иного способа тебя спасти, несчастный! Потому что она хотела избежать той борьбы, в которую ты бы неминуемо вступил; потому что она хотела выиграть время, до тех пор пока мы, уже спешившие сюда благодаря принятым ею мерам, будем иметь возможность добиться с оружием в руках твоего освобождения.

Густав закрыл лицо руками.

– О! – воскликнул он, не поднимая головы, и ему показалось, что земля проваливается под его ногами. – Неужели то, что вы мне сейчас сказали, – правда? – Он обнял ее стан рукою и глядел ей в лицо с сердцем, раздираемым скорбью.

– Ах! – воскликнула Тони, и то были ее последние слова. – Тебе следовало довериться мне! – И на этом от нее отлетела ее прекрасная душа.

Густав рвал на себе волосы.

– Конечно! – сказал он, в то время как его двоюродные братья старались оторвать его от тела усопшей. – Я должен был тебе доверять, ибо ты была обручена мне клятвою, хотя мы и не обменялись с тобою по этому поводу ни единым словом!

Господин Штремли со стоном спустил лиф, облекавший грудь Тони. Он ободрял слугу, стоявшего около него с несколькими несовершенными хирургическими инструментами, уговаривая его вынуть пулю, которая, как он думал, засела в грудной кости; однако, как мы уже сказали, все старания были напрасны: пуля пронзила ее насквозь, и душа ее уже отлетела к лучшим звездам.

Тем временем Густав подошел к окну; и, пока господин Штремли, проливая тихие слезы, совещался с сыновьями, что делать им с телом и не следует ли позвать ее мать, Густав пустил себе пулю в голову из другого заряженного пистолета. Этот новый ужас совершенно лишил его родственников рассудка. Бросились к нему на помощь, но так как он

вложил дуло пистолета себе в рот, то череп несчастного оказался совершенно раздробленным, и части его пристали к стенам. Господин Штремли опомнился первый. Так как уже совсем рассвело и стало известно, что негры снова собираются во дворе, то им ничего другого не оставалось, как подумать об отступлении. Оба тела положили на доску, не желая их оставить на произвол негров, и, снова зарядив ружья, все печально двинулись в путь к пруду Чаек. Господин Штремли с маленьким Сеппи на руках шел впереди; за ним следовали двое здоровых слуг, неся на плечах мертвые тела, далее брел, опираясь на палку, раненый, а Адельберт и Готфрид шли по бокам печальной процессии, держа в руках заряженные ружья со взведенными курками. Негры, увидав малочисленность отряда, выступили из своего жилья, вооруженные вилами и пиками, и, видимо, стали готовиться к нападению; но Гоанго, которого из предосторожности развязали, вышел на крыльцо дома и дал знак неграм, чтобы они держали себя смирно.

– В Сен-Люс! – крикнул он господину Штремли, проходившему уже с телами в ворота.

– В Сен-Люс! – отвечал тот, после чего шествие вышло в поле и, никем не преследуемое, достигло леса. У пруда Чаек, где нашли все остальное семейство, для умерших, проливая обильные слезы, вырыли могилу и, обменяв кольца, которые были у них на руках, опустили их тела с тихой молитвой в место их вечного упокоения.

Господину Штремли посчастливилось через пять дней благополучно добраться с женой и детьми до Сен-Люса, где согласно своему обещанию он оставил обоих маленьких негров. Он достиг Порт-о-Пренса незадолго до начала осады и некоторое время сражался за дело белых на валах этого города; когда же после упорного сопротивления город все же оказался в руках генерала Дессалина, он вместе с французскими войсками спасся на корабли английского флота и переправился в Европу, где без дальнейших приключений достиг своей родины, Швейцарии. Там, в окрестностях Риги, он на остатки своего небольшого состояния купил себе имение, и еще в 1807 году среди кустов его сада можно было видеть памятник, который он велел поставить своему племяннику Густаву и его обрученной невесте, верной Тони.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)